

18+

ИРИНА БОГАТЫРЁВА

АВТОСТОП

ПОВЕСТЬ



Ирина Богатырёва
Автоstop. Повесть

«Издательские решения»

Богатырёва И.

Автостоп. Повесть / И. Богатырёва — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-601509-8

Герои книги — молодые люди, ищущие себя на бескрайних дорогах России. Последователи гуру Керуака, на их гербе можно вывести «Дорога всегда права». Они путешествуют, мечтают, играют музыку и сочиняют песни, влюбляются и любят, но главное — понимают, кто они сами и что ищут на своём пути. Повесть вошла в шорт-лист премии «Дебют» в 2007 г.

ISBN 978-5-00-601509-8

© Богатырёва И.
© Издательские решения

Содержание

Движение без остановок	6
Африка	7
Новая весна	13
Прощай, революция!	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Автостоп Повесть

Ирина Богатырёва

Дизайнер обложки Ирина Богатырева

© Ирина Богатырёва, 2023

© Ирина Богатырева, дизайн обложки, 2023

ISBN 978-5-0060-1509-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Движение без остановок

Мы вольные странники бесконечных дорог. Друзья всем дальникам и драйверам, мы их амулеты, талисманы, мы их ангелы-хранители, и даже менты не трогают нас – они знают, кто мы такие и куда мы идём. Мы сами можем не знать этого, смеяться и махать в сторону солнца, но менты знают – они чертыхнутся, пожмут плечами, вернут паспорта и пошлют нас на все четыре, всё равно нас не остановишь, а им не понять.

Нас много. Мы – точки, разбросанные по дороге, романтические последователи гуру Керуака, мы братья одного ордена, и на нашем гербе можно вывести: «In via veritas» или проще: «Дорога всегда права». У нас разные цели, разные маршруты, но все мы едины в своём ощущении: только здесь, на дороге, мы становимся свободными.

Нам двадцать и плюс-минус немного, у нас ещё нет прошлого, мы не смотрим в будущее, а в настоящем – перспектива, асфальт и радость от того, что тебя все потеряли.

Мы недавно вышли, мы ещё разбегаемся, мы кайфуем и обнимаем нашу дорогу, мы ждём её подарков и не знаем, куда она нас приведёт.

А ты, дорога, ты своенравна, то смеёшься, то негодуешь, и как уловить момент перемены твоего настроения? – облака. Ты жизнь, ты судьба, ты единственный из всех возможных комбинаций случай: именно здесь, именно сейчас, именно с этим человеком, а прочего нам – не дано.

Африка

(Раста фор ай)

Вот мы спрыгнули и покатались – по мягкой обочине МКАД со скоростью пешехода. До ближайшего съезда в город три километра, а там хорошо бы места знать, приятель, хорошо бы места знать, где мы. Их в принципе всегда хорошо знать, а тут и подавно: ночь, дождь, МКАД обочина – всей Москвы обочина – МКАД.

Дождь как стена, и мы под ним, как под водой. Как на дне, в смысле. МКАД несётся, вылупив фары и сжав от скорости зубы, перед глазами только ночь, и дождь, и красные фонари. Вода разбивается вдребезги о тупые лобовые, пенится под колёсами, и остаются белые силуэты на асфальте. Машина проехала, силуэт держится миг, а после белой пеной стекает на обочину – к нам.

– Толик, у них ограничение по скорости сто километров в час, ты слышишь? Они тебя просто не видят!

Это я оборачиваюсь и кричу в темноту. Силуэт Толика, пьяного в брызг Толика с протянутой для стопа рукой, качается где-то там, за дождём.

– Идём, не надо! – зову его снова.

Мы пни, мы верстовые столбы на этой чёртовой автодороге. Наша скорость ничто по сравнению с их. Они нас не видят, ты понимаешь, приятель. Не видят три мокрые пня с рюкзаками. На нас даже ничего нет, что бы отражало их свет. А нам ещё столько до дома топать.

– Эй, ну вы куда поперлись, мать вашу? – Ночь рвётся в пьяной Толиной глотке. – Стойте, черти! – Ночь рвётся на визг.

Бросаю взгляд на Рому – он идёт спокойно, чуть улыбаясь, одними губами повторяя свою песню.

– Мелкая, смотри только, чтоб он не упал, – бросает.

Мелкая – это я, это они меня так называют, не по росту или объёму, просто я их всех младше, вот и всё.

Оборачиваюсь на Тольку – вроде идёт. Качается, в землю смотрит, рюкзак перекошен, но идёт. Чему-то даже смеётся, с кем-то будто ещё разговаривает.

Ночь несётся, МКАД несётся, и мы на ней – верстовые столбы. Что-то щелкает во мне, как иногда бывает, и вижу вдруг всё и сразу, и не изнутри себя, а сверху – будто с моста или облака: вот идут трое, я – Мелкая, Рома-Джа и Толик, поэт и художник. Правда, сейчас это просто пьяный чувак, который тащится сзади. МКАД – чёртово колесо в разноцветных лампочках иллюминации. У Мелкой (это у меня) тысяча и одна косичка встали дыбом от холода. С бритой Толькиной головы потёк немытый коричневый грим, и у него лицо как у спецназовца на задании в джунглях. А Рома, рыжеволосый наш дрэдастый Рома-Джа, такой сейчас мокрый, худой, спокойный и жалкий, что похож на Христа. Растаманский Христос, тощие дреды липнут к лицу, он несёт свой рюкзак, полный там-тамов, и запах ганжи висит позади него в мокром воздухе.

От Ромы всегда пахнет ганжей. На то он и Джа.

– Ну ты идёшь? – ору я и оборачиваюсь, оборачиваюсь и натываюсь на Толю и на его запах – запах рома и дорогого коньяку, которыми он упился на халяву. Ох, успел же ты упиться, приятель, и даже холодный майский дождь никак не промоет тебе мозги.

– Не кричи, – говорит Толик тихо. В шуме и воде можно говорить так вот тихо, если стоишь нос к носу. – Иди.

Он делает шаг на меня, я отскакиваю и иду дальше. Слышу его крик:

– Ромыч, а Ромыч! А у той песни вообще конец был? Ну, у той, что мы последний час там стучали?

Рома улыбается и топает дальше.

– Ну Ромыч, чего ты молчишь, а? Как там его – растафорай, Ромыч!

Толик вспоминает, перевирая, слова и ржёт за нашими рюкзаками.

– А они не промокнут? – спрашиваю Рому, кивая на рюкзаки. Там наше всё – джембе, там-тамы и большой кпанлого – африканские барабаны. У них толстое красное дерево ног и белая кожа. Они похожи на круглые табуретки, бочонки или столики из летних кафе. Они пахнут Африкой и ганжей. Хотя нет, это Рома пахнет ганжей, а барабаны Ромины, вот и всё.

Интересно, бывает ли в Африке такой потоп, под который могут попасть барабаны?

Рома улыбается и молчит, одними губами напевая свою бесконечную растаманскую песню, бесконечную растаманскую мантру.

Джа даст нам всё, правда, Ромыч?

Я люблю его песни и его барабаны. Рома всегда очень и очень спокойный. Даже под травой спокойный и немного задумчивый, никакого дурацкого смеха и глупых выходов. Медитативный такой растаман, который в вечной своей ганжевой медитации познал главную истину роста: Джа даст нам всё. За это я его очень люблю.

Барабаны появились в нашей коммуне в начале этой зимы. Коммуна – это огромная квартира на Якиманке, сталинская квартира с бесконечными коридорами и потолками, которую снимает каждый, кто хочет. Сколько там живёт человек, знает только Рома, потому что он её хозяин. Он её сдаёт и там же живёт. В нашей комнате. Точнее, в его, конечно, комнате, но кроме него там ещё четыре человека, в том числе я, а я сплю на антресоли. Впрочем, в таких квартирах антресоль – как второй этаж, и мне там нравится.

Всю зиму наша комната училась стучать на барабанах африканские ритмы. Толик и я оказались в этом плане самыми продвинутыми. Мы выучились стучать основные ритмы, а Рома делал под них прекрасные, неповторяющиеся, неожиданные ритмические рисунки. Целую зиму мы так веселили соседей, а как сошёл снег, понесли свою Африку на Кузнецкий мост – зарабатывать деньги.

Не прошло двух недель, как нас заметили. Подошла тётя, положила в красно-рыжую Ромину шапочку тыщу, подозвала его и сказала:

– У вас постоянный состав или вы только сейчас собрались?

– Постоянный, – кивнул Рома-Джа.

– Дай свой телефон. Мы устраиваем корпоративные вечеринки, через недельку у нас будет тема – туземцы. Мы пригласим туда тебя и твою группу.

Рома кивнул и дал наш якиманский телефон.

Через недельку тётя не позвонила, а позвонила через две. Была суббота, вся коммуна сидела дома, у Толика с его живописью случился творческий кризис и он стонал, что хочет уйти в запой, но нет денег, а я читала Керуака у себя на антресоли. Роме было легко нас собрать и повезти на Щёлковскую.

Что значит корпоративная вечеринка, никто из нас не знал. Барабаны перестукивались меж собой в наших рюкзаках, пока ехали в метро. Толя спрашивал у Ромы-Джа, дадут ли нам там выпить.

Рядом с метро, у кинотеатра «Матрица» нас ждал чёрный фольксваген, который поехал далеко за МКАД. Мы с грустным Толькой сидели сзади, Рома пытался говорить с водителем – это у него автостопская привычка говорить с водителями. Но этот был немой и не отвечал на вопросы. «На самом деле это бритая горилла», – сказал Толик потом.

Нас привезли к белому непроницаемому забору. Одна стена его перевернулась, и машина въехала в пустой чистый двор. Белые стены небольшого дома были обсажены живой изгоро-

дью, ещё голой и неприветливой. Стекло двери крыльца разъехались при нашем приближении. За дверью стояли две борзые собаки из бронзы, поджарые, лёгкие, беспокойные, в натуральную величину. Внутри дома всё было бело и скромно, но это была особая, позолоченная скромность.

Нас ввели в большую комнату, где всё место занимал стол как для малого тенниса, только раза в три больше. На нём сидели девушки, тоненькие и красивые. Загорелые до смуглости, смазанные какими-то кремами, отчего у них кожа отражала яркие лампочки. Одна настоящая мулатка. Они были одеты легко, точнее, они были слегка одеты в какие-то тряпочки, которые символически изображали одежды туземцев Африки. Человек десять мужчин и женщин с лицами профессионалов на работе делали им причёски, макияж, маникюр и педикюр. Девушки одевались, смеялись, все громко разговаривали. Это было какое-то буйство шоколадной, блестящей, утончённой, пахнущей сладким красоты, которая бросилась нам в глаза, стоило только войти.

– Вот блин, – выдохнул Толик.

– Это кто? – спросили нас.

– Музыканты, – ответили за нас.

– Это к гримерам, – сказали нам, и мы пошли в угол стола.

– Будете играть негров, – сказала женщина, что нашла нас на Кузнецком мосту. Это была толстая женщина из самого шоколадного солярия, на её шее, руках и ногах звенели золотые кольца. Она была гигантская, шумная и праздничная, как богиня плодородия в засушливой сельве.

– А пожрать нам дадут? – спросил Толик. Он озирался с лицом арестованного пролетария накануне Великой Октябрьской.

– Позже, – женщина скользнула по нему взглядом. – Двести долларов вас устроят? – сказала утвердительно Роме-Джа. – Очень хорошо, что у вас это, – кивнула на дрэды. – Ему бы тоже такие не помешали, – Толику.

– Я сбрил вчера, – буркнул он.

– Костюмы вам дадут. – Она оглядела меня. – Ей такое же сделать – на волосы – можно, – закончила с паузой. – Танцевать будешь? – Я мотнула головой. – Всю одеть, – постановила она.

Рому уже замазывали коричневой краской.

– Это случайно не дерьмо? – деликатно поинтересовался Толик, понюхал баночку и со вздохом закрыл глаза. – Ладно, чего не сделаешь ради бабок.

– Чтобы было такое, нужен парафин, – кивнула я на дрэды. – Но я не дамся, меня с основной работы уволят.

Гримёрша кивнула и стала заплетать на моей стрижке «под мальчика» тысячу и одну косичку. Мне дали зелёную хламиду из льна и покрасили почти чёрным. В косичках были разноцветные ленточки. Руки измазали до локтей и просили не поднимать, иначе свободные рукава хламиды свалятся на плечи. В зеркале отразился обгоревший ёжик.

– Го, растаманас, го, – скомандовал Толик, страшный, будто террорист, и мы пошли из комнаты в зал, обвесившись там-тамами. Мы не знали, что с нами будет, и руки у меня вспотели. Только Рома-Джа был спокоен, и его рыжие дрэды по-над крашеным лбом качались в такт игравшей в нём музыке.

Мы сели на пол в зале – комнате для приёма гостей – и стали играть. Мы играли привычно хорошо и потихоньку оглядывались. Зал был украшен под хижину в сельве – хижину вождя всех африканских племён, давно продавшего половину своих подданных в рабство. На полу стояли деревянные статуэтки слонов и жирафов, на стенах висели ритуальные маски. Всё это было крашено жирными африканскими красками. Диван и пол был устелен чем-то, что имитировало солому. Мы сидели под настоящей пальмой в кадке. Слушали нас те самые худенькие девочки.

Мы играли и ничего не происходило. Девочки зевали, кидали в свои рты виноградины и кусочки фруктов, строчили смс, болтали. Они сначала казались мне непонятными, потом я к ним привыкла – обычные девчонки, тоже, поди, где-то учатся. Одна мне даже понравилась. Она была сама невысокая и почти без загара. У неё были большие глаза и маленький ротик с таким особым, чуть хищным прикусом, от которого она немного картавила. Она подрагивала ножкой в такт нашим ритмам, у неё были босые пальчики, а тонкая лямочка от подошвы обвиняла худую щиколотку, и белый каблук, как зуб-амулет, качался ритмично на уровне моего лица. Мы с ней улыбались и кивали друг другу. Я совсем успокоилась и поняла, что девочки тут такая же мебель, красивые экзотические штучки, как мы. Только неясно, для кого всё это. Зрителей не видно было.

Вошла, звеня и перекатываясь всеми своими загорелыми волнами, наша тётка. Оценила всё сразу – девочек, нас и прочую атрибутику, подошла к Роме и сказала:

– Вы играйте громче и дольше. Всю музыку в раз не выплёвывайте. Сейчас они покушают и сюда придут. После вас ещё музыканты будут, вы на разогреве.

Потом шепнула что-то девочкам и открыла в дальней стене дверь. Оттуда полился шум мужских голосов и запах еды. Толик перегнулся над барабаном, чтобы заглянуть туда.

Прошло ещё время, девочки стали выключать свои мобилы, меняться лицом и, пританцовывая, уходить в ту дверь. Чуть раскачиваясь, полузакрыв глаза, Рома запел какую-то простую растаманскую песню. Мы с Толиком словили ритм и принялись зажигать.

Раста фор ай, вил би форэве лов энд Джа. Энд растафорай!

Девочки стали возвращаться, цокая каблукчиками, смеясь и мелодично позвякивая всеми висюльками на себе. За ними входили, продолжая дожёвывать еду и незавершённые разговоры, мужчины в строгих костюмах. Девочки садились на диван, потом вставали, начиная танцевать, увлекали за собой мужчин, но те были ещё в заботах своих дел и не готовы к танцам.

Моя девочка была там самая весёлая, подбегала, снимала нас на камеру в своём мобильнике, смеялась и спрашивала меня: «А это тг'удно? А г'уки ещё не устали? А вы где-то учились?» Я улыбалась, она убегала и снова смеялась. У неё было очень хорошее, простое лицо, я представила её в джинсах, майке и бейсболке, и поняла, что мы могли бы подружиться.

Я так на неё загляделась, что не замечала, что мы играем.

– Ромыч, а у этой песни конец есть? – услышала шепот Толика. Рома продолжал покачиваться и петь. У него были совсем закрыты глаза. Говорят, после определённого момента трава становится не нужна: человеку просто всегда хорошо. Джа даст нам всё, правда, Ромыч?

Наконец с улыбкой и звоном вплыла наша тётя, блестя загаром и зубами, и шепнула Роме, чтобы мы закруглялись. Рома тут же оборвал ритм, встал и пошёл к выходу. Мы закончили растерянной дробью.

Сразу на наше место потянулись другие музыканты, настоящие негры, и у нас рты отвисли от удивления: это были очень хорошие джазмены, мировые звёзды.

– Какие же бабки им надо дать, чтобы они вспомнили историческую родину? – хохотнул Толик, когда рот его всё же закрылся. – Блин, Ромыч, продешевили мы с тобой.

Рома смотрел улыбаясь, на его губах ещё крутилась его песня.

Толик ошибся: ребята играли джаз. Мы, официанты, горничные, гримёры и повара в фартуках толпились у неплотно прикрытой двери в зал и слушали. Работники переговаривались, сравнивая эту вечеринку и предыдущие. Мы ненадолго убегали, чтобы смыть с себя грим, и возвращались к двери. Толик сумел закорешиться с поварами с кухни и официантами из бара, ходил с полным фужером, а потом позвал нас в гримёрку – там на одноразовых тарелках ждало жаркое.

– Учитесь, растаманы, – победно сказал он. – И Джа даст вам всё.

Пока мы ели и слушали африканский саксофон, в гримёрку вплыла тётя, сунула Роме две бумажки и направилась к двери.

– Мадам, а когда нас увезут? – крикнул ей вслед Толик. – Время позднее.

Тётка обернулась с непоколебимым лицом:

– Шофёр поедет домой, – молвила, наконец. – Найдите его, он вас до Москвы подбросит.

Толик присвистнул:

– Ну, ребята, я пошёл шофёра ловить. А то неровен час...

Мы вернулись к двери. Я безумно завидовала в тот момент девочкам. Они лицом к лицу сидели с такими звёздами! Ведь это настоящие музыканты, живая классика! Они хоть понимают, как им повезло? Дверь в зал была двойная, между створками – щель, и я мечтала протиснуться, чтобы увидеть зал, музыкантов и восхищенное лицо моей девочки. Я была уверена, что оно восхищённое.

Я протискивалась медленно, и уже была у щели, когда в толпе ахнули: идут! – и все бросились по углам. Я осталась одна у щели, успела увидеть, как наплывают в мои глаза одежды, и отскочила вовремя, чтобы не получить по лбу.

Створки разлетелись, из зала вышел один из мужчин – и моя девочка. Она держала мужчину пальчиком за мизинец. Напротив была незаметная почти дверка, она вела на лестницу, на второй этаж. В два шага они преодолели коридор и скрылись за дверью. Но в эти два шага моя девочка успела ослепить меня своей улыбкой с хищным прикусом. Она несла эту улыбку, как королева венец перед венчанием, эту сверкающую, застывшую улыбку победы. Потом она стала подниматься, и я услышала, как стучат по лестнице её амулеты-каблучки.

– Ромыч, тащи Мелкую, а то он без нас уедет! – Уже пьяный Толик ориентировался в реальности быстрее, чем я.

Водитель был тот же, но ехали мы на его новой фиолетовой шестёрке. Он был всё также молчалив, хотя теперь впереди сидел Толик, и он признался ему, что они тёзки. Этот новый Толик был из Подмоскovie, откуда-то с другой стороны города, он провёз нас, пока было по пути, потом высадил на МКАД и поехал к развилке.

Он высадил нас на автобусной остановке. Ему в голову не пришло, что был уже час ночи и шёл дождь. До развилки, куда он сам свернул, было три километра. Он хотел для нас как лучше, этот наш новый Толик.

– Девушка, а девушка! Тебя же на трассу выпускать нельзя, тебя же снимать начнут! – Толик ржёт и бьётся. Он ржёт над Ромой. Со своими мокрыми дрёдами вокруг лица он и правда похож на девушку, если смотреть на лоб и глаза – у него очень чистые глаза. Но под носом рыжеватая небритость.

– Девушка, а девушка! Может, всё-таки поднимите царственную свою лапку? Вы же как ни как профессионал. Может стопнишь всё-таки какую-нибудь тачку, твою в раста бога душу мать!

Толик знает, что говорит: Рома-Джа хорошо знаком с трассой. Каждое лето он уходит стопом в Крым, или на Кавказ, или ещё куда-то. Собирает в мае плату за три месяца вперёд со всех жителей коммуны и уходит на всё лето. У него там девушка есть и сын даже, года три, наверное. Я фотку видела: странное существо с выгоревшей на солнце мордочкой и волосами. Волосы эти совершенно нечёсаны, не прочёсываются, наверное. А ведь именно так исторически получились дрёды – из сбитых пожизненных колтунов.

Но Рома ничего о них никогда не говорит, об этой своей немосковской семье. Я о них знаю, только что есть.

– Слушай, чувак, ты что хочешь? – вдруг оборачивается Рома и говорит Толе прямо в лицо, чтобы не орать сквозь дождь, говорит тихо. – Ты представляешь, сколько с тебя отсюда до центра слупят? Ты весь наш заработок отдать готов?

– Да ты чего? – удивляется Толя и делает в сторону неверный шаг. – Разве нельзя сказать, что у нас нет, если тебе жалко?

– Ты не понимаешь: стоп – это не когда ты на халяву едешь, потому что жмот. На трассе врать нельзя. На трассе ты открыт. Ты понимаешь? А тут тебе какая трасса? Тут что, дальники в рейс идут? Это Москва, приятель.

Он поворачивается и идёт дальше, но тут же мы слышим:

– А я ненавижу её! – взрывается – и сразу в визг – Толькин голос. – Я ненавижу её, эту вашу Москву, эту зажавшуюся, жадную, вонючую вашу Москву!

Мы оборачиваемся: он стоит, как горбатая гигантская птица с перебитыми крыльями – руки болтаются из-под рюкзака, с них течёт вода.

– Вы слышите? вы! Я ненавижу её!

– Ну слышим. А чего же ты сюда припёрся? – кричу я ему в дождь – чувствую, что меня он тоже уже начинает бесить: ведь нам ещё идти и идти, непонятно даже куда, а он нашёл время и место для своих эмоций. – Сидел бы в своём Петропавловске! Чего тебя сюда понесло?

– Я её ещё сделаю! Я сделаю их всех, слышишь! – орёт Толик. – Ты видела её карту? Ты к нам в салон зайти, там висят эти карты сотовых сетей. Ты видела? Ведь это же паутина! Это паутина, мы летим сюда и липнем, как мухи, мы прилипли, болтаемся и ждём, когда нас сожрут. Но только не будет этого! Я для того сюда приехал: я их всех ещё сделаю! Вы слышите меня? Я сделаю, всех, и вас, и всех, всех!

Толик живёт в нашей комнате и спит под роялем. Он делает картины из пивных пробок, стекляшек, мелких монет, каких-нибудь обломков и прочей дряни, что находит на улицах. Он натаскивает этого мусора целые коробки, они стоят у него под роялем, а потом на тонкий слой пластилина на дощечке он всё это налепляет. У него получают толпы в метро, вид из нашего окна на дворовую помойку, фабрика «Красный октябрь» и Пётр, вздыбивший море на набережной... Урбанистический мир из отбросов этого мира. Толик знает, что делает.

Рома подходит к нему и встряхивает за плечи так, что хрупкий пьяный Толик почти повисает в его руках вместе с рюкзаком.

– Пошли, – говорит потом тихо – из-за дождя я догадываюсь, а не слышу. Толик всхлипывает.

– Ромка, из тех денег... возьмишь мою долю за квартплату, – говорю я, когда он меня догоняет. – А Тольке не отдавай, ладно? А то правда запьёт, его с работы выгонят.

– Не запьёт. Теперь уже не.

Мы идём дальше. Мои кеды впитали в себя столько воды, сколько могли, и теперь отжимают её при каждом шаге.

– Ромыч, а Ромыч. А есть ли всё-таки в той песне конец? – Толик догоняет нас и становится в ногу, такой же согнувшийся под рюкзаком, как мы. Рома слегка улыбается. Мы топаем дальше.

Новая весна

Тюня, Тюня, Юлечка, стриженная девочка, кривая усмешечка и лёгкий матерок. Ты выходишь в развалочку, смотришь в зал с презреньем, ты упёрла руки в карманы, и в карманах твоих – кулачки. Ты одна перед залом, Юлечка, и все ли они твои друзья? Ты ухмыльнёшься, сделаешь голос хрипотцой, закроешь глаза от софитов, ударишь по гитаре и начнёшь петь про пьяную субботу.

– И всё э-это-о мне-е!

После концерта будешь морщась рассказывать, как тебя достали потные мужики, которые лезут знакомиться; от них пахнет дорогой водкой и дешёвым одеколоном, они зовут тебя в бар и уверяют, что ходят в эту дыру только ради тебя. А обычно пьют в «Метелице».

– Таков твой имидж, – говорит Продюсер. – Перестанешь материться и петь про алкоголь, люди вокруг тебя изменятся.

Но Продюсера ты не слушаешь – ладно бы действительно был продюсером, а то ведь ничего ещё не сделал, только проекты – альбомы, гастроли, – а пока пой, как тебе поётся, в барах и клубах, и весь бывший московский андеграунд с тобой.

Тюня, Тюнечка, талантливая девочка, звезда московских пивных.

Блин, Сорокин, и где ты только её нашёл!

– Сорокин, где ты её нашёл? – спрашиваю я, но не дай бог мне слушать, как он рассказывает с бесчисленными отступлениями длинную историю про фестиваль и встречу в метель.

Из метели вышел Сильвио и сделал свой выстрел – Тюня попала к нам в коммуну.

Нет, ты москвичка, Юлечка, ты не будешь жить у нас на Якиманке, но лучших мест для репетиций придумать трудно: здесь стены толстые, здесь Рома на басу, Сорокин на всяких дудочках, Ленка подпеваает, а это уже группа, и все мы ценим твой талант, и Толька наш, вечно под мухой, лежит под роялем, когда ты приходишь, и боитсядохнуть.

Эти репетиции – они были пиком лихорадки, которая потрясла нашу коммуну. Мы были тогда, как заряженные частицы: нас бросало друг к другу, сталкивало, разносило вновь, и так мы метались. Эта жестокая лихорадка поносила нам крыши и, безбашенные, мы жили, не помня себя.

Но вот есть предчувствие, что скоро всё разрешится. Мы движемся с тобою, Сорокин, по трассе, и иного пути у нас нет. Машин тоже нет, потому что разве ж это трасса – дорога узкая до какой-то деревни, где нас должны ждать они. Сколько км до деревни, Сорокин? А, нехай, к утру дойдём.

Этот дом полон людьми, и все они играют друг с другом в игры. Может, они и не согласятся, что это так, но мне-то с моей антресоли видней: мой дом полон детьми, и все они играют в любовь.

Всё началось с Ленки. Ох, эта Ленка, белоголовая, белобровая, зеленоглазая и смелая, как чёрт, Ленка принесла с собой на Якиманку бациллу мартовского безумия. Недаром сказал о ней коммунское наше пугало, дед Артемий, вечный сидень на кухне у батареи центрального отопления. Он сказал, стоило ей только появиться у нас:

– Бес в вас, девонька.

– Круто, – ответила ему Ленка.

Бывают такие вещи, разум над которыми бессилён. Так бессилён он понять, что столкнуло нас с ней, двух непохожих, Мелкую – меня и Ленку. Но мы столкнулись, было это в метро, где она стояла на раздаче листовок, а я летела по маршруту, одному из вечных своих маршрутов, что, начавшись в одной точке, непременно туда же вернутся и не раз. Так и было, и мы стал-

кивались с Ленкой снова и снова, раз двадцать, пока, наконец, смех не стал брызгать у обеих из глаз. Знакомство было естественно.

– Мы живём с тобою в безумном городе, – говорю я, потягивая сок из трубочки. У нас обеденный перерыв.

– Ага, – кивает Ленка.

– И у нас самая безумная работа, какую только мог он породить.

– Ага, – кивает Ленка и запивает шоколадку пивом. Она так любит сладкое, что ничего больше не ест, чтобы не потолстеть.

Ленка приехала в Москву, жила у тётки, училась где-то и работала, – всё как я. Но тётка зажимала Ленку, не давая цвести.

– Все люди имеют право жить, как хотят, – жаловалась Ленка. – Но эта деспотичка вбила себе в голову, что она мне мать. Разве за этим я ехала в Москву!

Появление её на Якиманке было неизбежно. И хотя мы и были ровесники, никому в голову не пришло звать Ленку так же, как меня.

– Вот это кадр! – восхищался ею Толик. – Учись, Мелкая!

И ты приняла её, Якиманка, съёмный, коммунский наш рай. Ленка нашла здесь ту благодатную среду, насыщенный раствор цинизма, пофигизма и дозволенности, в котором её молодая шизофрения могла благодатно расцвести. Она так и говорила всем, что у неё шизофрения, нашла книжку по судебной психиатрии и сверялась с симптомами:

– Маниакально-депрессивный синдром алкоголического происхождения, – гордо ставила она диагноз.

Но ты, коммуна, наш общий дом, ты привыкла ко всему и смеялась: здесь многие говорят так, что непонятно, когда шутят, а когда нет.

Только один дед Артемий сразу разглядел беса. Позже разглядела его и я, как-то ночью, со своей антресоли. Я люблю смотреть на людей, когда они спят: сразу видно что-то важное. Ленка спала с испуганным лицом, а рядом с ней, на подушке, копошился коричнево-серый комочек, словно котёнок. В темноте я не поняла, что там, приподнялась на локтях – комочек прислушался, напрягся, прыгнул Ленке в голову и был таков.

А мы с Сашкой на трассе, на дороге, на ленте асфальта в лесу. Вокруг – май, первая зелень и первые бабочки.

После зимы вылезает из Москвы на волю слепые, как кроты, поросшие грибами и плесенью. Мы плохо соображаем, мы шуримся, и голова кружится от воздуха.

Если ты увидел первую бабочку, приятель, можешь считать, что пережил эту зиму.

– Сорокин, а ты еды взял?

– У них должно быть.

– У меня хлеб есть. И вода.

– Ну и кайф. У них ещё есть.

У нас палатка и пара одеял.

– А вы договорились, где ждать будут?

– Неа, – отвечает. – Найдёмся как-нибудь?

Я киваю. Что-то во мне щёлкает, и пытаюсь увидеть всё сразу и сверху – и нас, и озеро, и тех, кого мы ищем.

– Я отлучусь, а ты поголосуй, – говорит Сорокин и скидывает рюкзак. Сбегаёт трусцой в кювет. Я ставлю свой рюкзак тоже, смотрю в пустую перспективу.

– Ага, – говорю, – так мне сейчас и останутся, одной бабе с двумя сумками.

– А, где баба с двумя сумками? – выглядывает Сорокин из кустов.

– Нигде, это я о себе. Ой, беги – машина!

Он выскакивает, застёгиваясь, и мы поднимаем руки. Легковушка, круглобокая иномарочка, похожая на жёлтый, блестящий пирожок, останавливается, Сорокин наклоняется и говорит вежливо и хрипло. У него всегда от вежливости голос хрипит. За рулём женщина, и она берёт нас в салон со всеми нашими сумками.

Ленка говорила, что у себя на севере она пила только водку и ничего другого не признавала. В Москве научилась пить пиво. Я поняла, что в её образовании есть пробел, в первый же день, празднуя её поселение, мы купили шампанское и кокос, распилили его рашпилем, выпили и к вечеру, когда пришли Ромыч с Толиком, лежали на рояле и смотрели, как по потолку ходят тени. Почему-то все они напоминали нам слонов.

– Девки гуляют, – сказал Толик, включил свет, и слоны все разом пропали.

Беса я увидела не в ту ночь, немного позже, а тогда решила больше с Ленкой не пить. Потому что если мне слонов было достаточно, то ей оказалось мало, а до лавки пробежаться с Толиком пятнадцать минут, поэтому скоро вся коммунальная кухня знала, кто к нам въехал.

– Девка знакомится, – сказал тогда Толик.

– Я в этой деревне выросла, – говорит женщина за рулём. У неё лицо, как у хозяйки турфирмы, где я курьерю – не старое, но усталое. Она спрашивает, куда нам надо. Сорокин путано отвечает про лодочную станцию. – Там их две, – говорит она. Скоро притормаживает и отправляет Сашку к домикам метрах в ста от дороги – узнать про наших:

– Это первая, – говорит.

Сорокин бежит и возвращается – не были. Едем дальше и проезжаем всю деревню – домики за заборчиками похожи на дачи. Женщина высаживает нас и машет рукой к дальним дворам:

– Там вторая.

Когда уезжает, я понимаю, как в этой машине было тепло.

– Сорокин, а Сорокин, давай играть, что мы сыщики и идём по следу.

На станции собаки сбегаются на наши тяжёлые шаги и горбатые фигуры, они лают и виляют хвостами. Да, были. Да, уплыли. Куда? – на острова.

– Догоним, – говорит Сорокин, и мы считаем деньги за лодку. Надо двести. У нас на двоих двести тридцать.

– Сашка, а как мы обратно?

– А, у них есть.

Ленка умела играть на гитаре и проникновенно-истерично петь Башлачова. Умела рассказывать о себе часами, и никому не было скучно. Умела надеть совершенно несоответственные, чужие, большие, странные вещи и выглядеть в них так, будто это вызов обществу от всего молодого поколения. Но главное, что она умела – это влюбляться и любить.

– Учись, Мелкая, – говорил Толик. – Учись, а то больно уж ты у нас инфантильна.

Он был от Ленки в восторге. Она от него тоже, первые дни они жили вместе у Толика под роялем, потом счастливые расстались, и Ленка понесла свой дар дальше, мутя жизнь нашей коммуны.

Её яркость и безумие приводило мужчин в состояние, сродни лёгкому опьянению или постоянному небольшому нервному напряжению. Даже те, кто воротил от неё глаза, как бы невзначай всегда посматривали. Их женщины стали чутче и нежнее, стали нервнее и почти все похудели. Ленка всех учила играть. Коммуна погружалась в пучины лихорадки.

– Пробовали сотни раз, но каждый – будто первый, – скажет позже Тюня, но скажет она это, кажется, про чистый спирт, хотя, по-моему, могла бы сказать так и про Ленку.

Я поняла, что это заразно, когда Серёга из соседней комнаты прислал мне как-то утром sms, где латиницей было выведено «*йа теба лублу*», чем довёл меня до истерического смеха. Только тогда я поняла, почему Серёга везде встречается мне, приходит в нашу комнату, сидит молча у тумбочки и заглядывает на антресоль. Он был скрипачом в Большом театре, у него было широкое лицо крестьянина со средневековых гобеленов и мелкие, острые зубы. Я боялась этих зубов, они казались мне нездоровыми, и не знала, о чём с ним говорить. Получив sms, я увидела, как это полноротое «*лублу*» застряло у него во рту, как большое красное яблоко. Я хохотала, а Рома-Джа мне сказал, что Серёга попросился у него накануне переехать в другую комнату – ту, в которую параллельно выходила моя антресоль. Я взяла молоток и забила себе параллельный выход.

На нашем коммунальном молотке есть надпись: «Применять по назначению». Это мудрая надпись, если вдуматься.

Берём лодку и отчаливаем. Белая кошка, провожавшая нас со станции, прыгает на самый дальний от берега камень, сидит и смотрит вслед. Мы уже далеко, берег, дома, – всё сливается в темноту, и только кошка белеет на камне. Одна. В сумерках.

Тишина, густая, надводная, заложила нам уши. Я впервые в лодке, но не хочу в этом признаваться. Я не умею плавать, смотрю в воду – черно. Вечер быстро пожирает предметы, тепло, желание разговаривать.

Озеро большое, на нём острова. Знать бы, какой из них наш.

– Там костёр, – говорю тихо. Вечер мигом сглотнул способность радоваться.

Плывём к острову, костёр мигает такой ядовито-красной точкой, что не верится, что он настоящий. Мы не видим людей, но по воде легко и быстро бегут звуки, и мы слышим музыку, только это не та музыка, которая может быть с теми, кого мы ищем.

– Там топор, – говорю ещё тише, и мы плывём к другому острову, где рубят дерево – звонко и легко. Я представляю, как делает это Продюсер: закидывает над головой худенькие руки, потом опускает за топором всё своё тело, тело отличника из Бауманки, умного очкастого мальчика.

– Тю-ня! – кричит Сорокин в темноту, на остров, так громко, чтобы самим не было страшно. – Тю!

– А как Продюсера зовут?

– Не знаю.

– Про-дю-сер! – кричу сама. В лесу рубят дерево. – Давай подплывём ближе.

Мы плывём. Уже различаем камыши у берега – сухие и жёлтые, те, что пережили зиму.

– Про-дю-сер!

Так холодно, что кажется, вода – чёрный лёд. Горит месяц, и звёзды – в небе и в воде. Наша лодка – поплавок между двух глубин. Мы долго вслушиваемся в тишину и холод.

– Ты знаешь, Сашка, мне кажется, именно так умирают.

– Мы сейчас пристанем, переночуем, а завтра пойдём их искать.

Лодка застревает в камышах. Ноги исчезают в холодной воде. Я совсем не вижу среди голых торчащих столбов, куда мы идём.

Выбрались на берег и пошли к деревьям. Будут ветки, будет костёр, будет тепло. Да помогут нам все добрые духи.

Бацилла была живуча, Серёгой всё не кончилось, а симптомы заражения до поры оказались незаметны: я поняла это, когда сама притащила в коммуны Сорокина.

Он был курьером в подъезде, соседнем с тем, где моя турфирма. Я встречала его давным-давно, но надо же было такому случиться, что в период лихорадки мы встретились, когда он был пьян и читал стихи.

Он стоял в арке между нашими подъездами, тонкий и сутулый, как камыш, обмотанный с головы до ног цветастым шарфом, глаза его горели вдохновенным пламенем, он качался и читал раннего Маяковского. Оказалось, что он курьерит для поэтического альманаха. Его слушали два приятеля с коньяком, помойная кошка и я. Приятели после свалили с остатками, кошка скрылась, а я потащила Сашку на Якиманку.

– Поколение инженеров сменилось поколением курьеров! – провозгласил Толик, увидев Сорокина. – Скоро вам будут ставить памятник в нашем дворе.

Мы живём в безумное время, приятель, и что ты хочешь ещё?

Оказалось, что коммуна для Сашки – то, что надо. Он был из Подмосковья, какого-то далекого, потому ездил домой только на выходные, а всю неделю гостевал по друзьям. Но вот с друзьями начался напряг, а коммуна – то, что надо по его зарплате. Хорошего места сразу не нашли, поэтому поселили Сорокина в ванной.

Он тощий и спитой, этот Сашка. Я не могла без слёз смотреть на его коленки, похожие на две ссохшиеся тыковки. У него огромные толстые очки, за этими очками скрывается морщинистое лицо человека, которого бросила третья по счёту жена. У него какое-то прирожденное нарушение логики, поэтому слушать его простые рассказы о себе значило погрузиться в такие дебри его личной, а также мировой истории, что потом не соберёшь концов. Но я слушала эти истории, мы начинали в нашей комнате, когда возвращались с работы, а заканчивали на кухне с рассветом. Конца этому не было видно, мы пропускали институт, и скоро вся реальность стала сливаться в моей голове в бред.

Но в Сашке была нелепая, трогательная, слепая беспомощность, лёгкость в общении со всеми людьми, доброта и непритязательность в быту, – всё это и заставляло меня слушать его и таскаться с ним всё время, пока он жил в ванной. Если и была в моей лихорадке влюблённость, то только подхваченная от Ленки, как грипп.

И всё же я с радостью поняла, что испытание кончилось, когда однажды вечером Сашка ушёл с Ленкой в ближайший ларёк, а вернулись они за полночь и оказались вместе на Ленкиной кровати.

Именно в ту ночь я увидела у неё на подушке беса.

– Сорокин, а Сорокин, давай играть, что мы робинзоны и за нами никто никогда не придёт.

Костёр сушит, мы греемся. Режем хлеб на тонкие квадратики, сыпем солью и на веточках жарим. Вода из-под крана вкуснее вина.

Палатка у Сашки – старая брезентуха. Всю ночь мы греемся то в обнимку, то спиной. Одеjala тонкие для майской озёрной ночи.

Мне снится Продюсер. Он сидит в лодке и удит рыбу. По воде плывёт, блестя струнами, красивая новая гитара.

– И всё это мне? – поёт радостная Тюня на берегу, прыгает и хлопает в ладоши. Тюня ребёнок, Тюня девочка с косичками. Она ещё не знает, что будет петь песни и поднимать из руин рок-андегаунд Москвы. И все ли там будут твои друзья?

Просыпаюсь от голода. В палатке, нагретой солнцем, душно, как в болоте. Вылезаем наружу.

– Сорокин, у тебя правда никакой еды?

– Догоним, – говорит Сашка.

Мы собираем палатку. Идём, едим хлеб с солью.

– Смотри, вот остров. Может ли он быть большим? Нет, это круглый остров и мы их найдём. Тю-ня! – кричит Сашка в лес, хотя никаких звуков оттуда не слышно. Я опять пытаюсь увидеть всё сразу и сверху: вот мы, вот лес, вот много-много воды. Никого больше не вижу.

– Сорокин, давай играть, что мы орлы и ловим сусликов в поле.

Лес ещё сырой и голенький, он несогретый, необжитый, мы ходим по нему, как бездомные.

– Тю-ня! – орёт Сашка, как лось.

– Про-дю-сер! – ору я. – Слушай, Сашка, а почему мы Ленку не зовём?

Сашка мрачнеет. Пусть даже они втроём – если Ленка чего-то хочет, это всё... Сашка знает это. Молчит. Мы доедаем хлеб. Всё, приятель, больше тебе неоткуда будет брать силы на ревность.

– У меня ещё сахар есть, – говорит Сорокин. Сахар с водой – это прекрасно. Только вода у нас кончилась. Выходим на болото.

– Сашка, ты помнишь, где осталось озеро?

– Нет. Погоди. – Он наклоняется и наполняет нашу бутылку. Мы пьём и едим сахар. – Хорошо, – говорит Сашка и довольно потягивается.

– Впервые пью болотную лужу.

– Она чистая, – говорит. – Там жаба сидела. Жаба в грязной воде не сидит.

Вдруг оба изменились. Одно безумие сложилось с другим, и Сашка впал в то состояние, когда он не мог отпустить Ленку от себя ни на шаг. И, оказалось, Ленке это нравилось. Они влипали друг в друга, как разноцветные куски пластилина на дощечках под картинками из отбросов у нашего Тольки.

Они жили долго и счастливо. Действительно долго по Ленкиным меркам и действительно счастливо по меркам коммуны. Но когда любовь становится зависимостью, дети забывают правила игры. Надо было так случиться, чтобы именно в это время у нас объявилась Тюня.

Нет, ты не станешь жить у нас, Юленька, но твои песни, пьяные, шальные, угарные, – они про всех нас, бездомных детей Якиманки. Потому мы и полюбили тебя, Тюнечка, потому ты и была с нами, и каждый из нас в душе готов был тащиться за тобой на край света. Каждому времени нужен идол, и если сейчас его нет, чем хуже ты, Тюнечка, звезда московских пивных? Мы все с тобой, пока ты поёшь про нас, для нас, и тебя никто не купил, – а кто ж тебя купит?

Её притащил Сорокин; она стала у нас репить с осени, а в середине зимы у неё появился Продюсер. Вроде, с творчеством пошло на лад.

Зато с коммуной, ещё не пришедшей в себя после лихорадки, начался новый припадок. Рома-Джа затянулся, поморщился, как старый индеец, и сказал:

– Крантец.

Это он сказал после того, как Сорокин бегал без сна и отдыха, развешивая афиши к тюниному концерту, а Ленка тем временем вырезала себе от локтя до кисти «ПРОДЮСЕР» руническими буквами.

Мы играем в ассоциации. Толька водит. Я отвечаю. Все слушают, прерывая напряжённое молчание смехом.

– Рояль, – говорит Толька.

– Хромая собака.

– Будильник.

– Капризный первоклассник.

– Ленка.

– Маленькая девочка, которую обидели (я вижу, как она смеётся и от удовольствия кусает Сашку за ухо).

– Сорокин.

– Мальчик читает ночью под одеялом с фонариком (я вижу, что Сорокин хочет что-то сказать, но не успевает).

– Тюня, – входит во вкус Толик.

– Девочка, которая ждёт подарков на новый год (как жаль, Тюнечка, что тебя нет сейчас рядом).

– Мелкая, у тебя все ассоциации однотипные пошли, это подозрительно.

– Это уже не ассоциации, это я так вижу.

– Ну хорошо. А Продюсер?

– Продюсер... Это... – Я впервые думаю. Жаль, что его тоже нет и я не могу взглянуть. – Нет, не вижу... Что-то ничего я не вижу.

Продюсер был бледен, худ, в прожжённых джинсах, в носках с голыми пятками, в рубашках без пуговиц, – но он знал нужных людей в нужных клубах и, даже казалось, знал места ещё больше и дороже. Но он молчал, он ждал, он умел ждать, это Продюсер, блефовать до поры и носить свой джокер в кармане. Только вот есть ли он там?

Пока же он щедро дарил Тюню советами. Они приходили вместе, Тюня пела, всё шло как всегда, а потом Продюсер говорил, что кому в идеале делать. С антресоли мне были видны его глаза – серо-голубые, умные – и я понимала Ленку. С антресоли мне были видны Тюнины губы – тонкие, с равнодушной кривинкой, с белым зубиком из-под – и я понимала Сорокина. С моей антресоли мне вообще было видно всё, и всё сливалось и путалось.

Безумие вновь стало копиться в коммуне, оно копилось всю зиму, а к весне по силе сравнялось со спящей атомной бомбой. Ленка с Сорокиным мирились и ссорились, переходили в положение брат-сестра, а после били друг друга и ставили фиолетовые засосы. Тюня с Продюсером продолжали являться ровные и спокойные, я видела их со своей антресоли, и свет близкой лампочки мерк в моих глазах от невозможности смотреть на них обоих вместе.

Мой дом полон детьми, забывшими, что они дети, и все они хотят во что-то играть.

У них стали получаться концерты. У них стали появляться деньги. Если бы тут была любовь, всё давно бы встало на свои места. Но всё оставалось как было, и в конце апреля Продюсер сказал:

– А идёте-ка все на озеро в майские праздники.

Это прозвучало, как вызов на дуэль. Ведь лес – это когда человек ощущает себя свободным и сильным, и тем резче хочет быть рядом с тем, с кем ему хочется. Что с ними случится в лесу, знать не мог даже дед наш Артемий. В бомбе щёлкнуло, и пошли отскакивать секунды. Я видела, как они засуетились, и мне хотелось замуроваться в своей антресоли, чтобы пережить взрыв.

Мы бродим столько, сколько ноги носят. Выходим на поляну, где мох прогрет солнцем, ложимся не сговариваясь, и нам хорошо.

– Сорокин, что тебе Тюня?

– Клёвая.

– А что Ленка?

– Зверёк.

– А Продюсер?

– А что мне-то Продюсер?

– Ну, как он тебе?

– Не разглядел.

– А они вместе?

– Бог их поймёт.

– А знаешь, когда я её самой-самой настоящей видела?

– Кого?

– Тюню. Когда она у нас ночевать осталась однажды. Я тогда смотрела, как все спят. А у неё лицо было такое детское, беззащитное. Мне хотелось погладить её по волосам. Она такая, Сорокин.

Я снова быстро пытаюсь оглядеть всё и сверху: вот мы, вот лес, вот озеро... Где те, кого мы ищем? Кого мы ищем? Те... Почему-то мне кажется, что мы опоздали. Думаю куда, но от тепла и неги уже засыпаем. Солнце садится, светит и греет, птицы поют, и Сорокин начинает похрапывать.

Вижу во сне рыжую убитую собаку.

Разве бы вылезла я со своей антресоли? Что мне там делать, если эти дети так хотят играть, лупить и мучить друг друга. Но настал май. Было холодно. Рома-Джа обмотался рыже-красным шарфом, постучался ко мне в антресоль и сказал:

– Мелкая, а Мелкая, а шла бы ты с ними.

– А шёл бы ты. Я не в группе.

– А я в группе.

– И чё?

– Иди, Мелкая. А то неровен час...

Договорились встретиться на Савёловском вокзале и поехать до озёра. Но встретили друг друга только мы с Сорокиным, попрыгали на пяточке, где условились, побежали на перрон – электричка махнула нам куцым хвостом и скрылась. Сашка смотрел ей вслед, как брошенная собака. Могу поклясться, он в тот момент думал, что Ленка устроила так специально.

– Направление знаем, – сказал он. – Догоним.

После зимы вылезаем из Москвы, слепые, как кроты, поросшие грибами и плесенью. Мы плохо соображаем, мы шуримся, и голова кружится от воздуха. Вот лес, он гол и пуст, вокруг первая зелень и первые бабочки.

Что ж, можешь радоваться, приятель: ты выиграл у города себе ещё одну, новую весну.

Мы просыпаемся в сумерках, разбиваем палатку и зажигаем костёр. Греемся.

– Ленка сразу у меня спросила, разрешу ли я ей его любить, – говорит Сашка. – А я сказал: нехай!

– Кого?

– Да Продюсера. Я ей сказал: нехай, он ведь такой, его хоть люби, хоть не люби.

Сашка достаёт трубку и курит.

– А ведь хорошо сейчас, – говорит он. – Больше ничего и не надо.

Костёр собирается скорбной кучкой пепла. Мы лезем в палатку. Укрываемся.

– Сорокин, давай завтра весь день будем спать и никуда не пойдём.

– Загнёшься, Мелкая.

– Ну давай, Саш. Я всё равно всё знаю, что завтра будет. Хочешь скажу.

– Ну скажи.

– Завтра девятое мая, мы выйдем к людям, и первый же встречный мужик нальёт тебе водки за Победу. Мне не нальёт, тебе. Ты станешь пьяный, и мы поедем стопом в Москву. По дороге купим на тридцатку пожрать.

– Мне нравится, Мелкая. Давай всё-таки вылезем.

Я вздыхаю. Мы обнимаемся, чтоб не мёрзнуть.

– Сашка, а давай играть, что мы убитые в войну солдаты, здесь, на болотах, и нас никто никогда не найдёт.

– Дура ты, Мелкая. Спи.

Мы обнимаемся крепче и спим всю ночь, замерзая.

Утром выходим к узкоколейке и удивляемся, кто проложил её на острове. Идём и приходим в деревню. Дальше всё случается так, как я сказала: первый же мужик с бутылкой, он угощает Сорокина водкой, с голода его начинает качать.

Не, приятель, с тобой таким я ни во что играть не буду.

Мы доходим до магазина, и я отправляю Сорокина внутрь. Сама сажусь на рюкзак, закрываю глаза, и рыжие блики прыгают в темноте моих век.

Весною, голодом, холодом, болотной водицею вытравит лихорадку из нашей коммуны. Надо было Роме сказать, чтобы он без нас там проветрил.

Открываю глаза – словно мираж проступают из солнечных бликов две фигуры на дороге. Моргаю – это Тюня и Продюсер. Впереди бежит рыжая Тюнина собака. Я сижу и улыбаюсь. Они заходят в магазин, собака подбегает ко мне и виляет всем телом. Это сеттер.

Продюсер выходит, видит меня, кивает и садится на сорокинский рюкзак. Я улыбаюсь, молчим. Он очень загорелый, Тюнин Продюсер. Голый по пояс и цвета овсяного печенья. Он сидит со мной рядом, и я пытаюсь разглядеть его, понять, учуять, изменилось ли что-нибудь с ним за эти дни. За два дня и две ночи с Тюней. Ленки с ними, как оказалось, не было, но тем сильнее у меня чувство, что я опоздала.

Ну что, приятель, где твой ребёнок? Тот самый, которого все мы с детства носим в себе.

Выходит Сорокин и даёт мне печенье. Сам жует, и его качает. Тюня с усмешечкой, в развалочку, мужская майка на голые грудки, – Тюня смотрит на Сашку с неизменной своей издёвочкой. Она говорит, где стояли, где ждали, но мы-то понимаем, что было и как и что лес – это просто когда хочется быть с тем, с кем хочется. А Тюня смеётся и знает теперь, на что Сорокин ради неё готов.

Голодом, холодом, водочкой, болотную сладкой водицею...

– А как тебя зовут? – оборачиваюсь к Продюсеру.

– Ваня, – говорит он и дважды моргает.

Прощай, революция!

– Всякий раз, когда уходишь – уходишь ты навсегда. Иного нет, ибо вернуться всегда – невозможно.

Таково первое правило Грана. Он передал его нам в то утро, когда мы познакомились – раннее утро на просыпавшемся, умытом Сретенском бульваре. Мы поняли, что это очень верное правило, и решили в тот же день с Якиманки уйти. К тому моменту воздух там был спертый, и мы поняли, что с места этого пора линять. Мы бежали, никому ничего не сказав, ибо таково второе правило Грана: уходя, не оставляйте следов. Мы не оставили, никому ничего не сказали и ушли в тот же день, когда познакомились с ним – мы оба, я – Мелкая и Сашка Сорокин.

Это был наш совместный побег на Восток. Гран так и сказал: «На Восток» – и мы с Сашкой поверили. Мы сразу поняли, что уйдём, хотя и сказали сначала смутно, что немного подумаем. Но что было нам думать, когда уже мутнели летние рассветные сумерки, Якиманка спала мёртвым сном, а мы с Сорокиным всю ночь выгуливали наш утюг, наматывая круги по бульварному кольцу и провожая Кару.

Кара, Кара Зе Блэк, зияющая ночь Кара, и на трассе я буду видеть, как наяву: вот ты таращишь на меня свой блестящий глаз, в котором нет отражений. Ты смотришь на меня и подходишь близко, трогаешь страшным клювом мою раскрытую ладонь, трижды киваешь головой и громкой произносишь своё имя.

Кара, Кара Зе Блэк, ворон, потушивший свет Якиманки.

Если есть на свете счастье или несчастье, тебе одной ведомы пути их среди людей, Кара. Если есть на свете радость, гнев, ненависть или печаль, тебе одной нет дела до них, Кара. Ты явилась, чтобы указать путь – и больше мы, верно, с тобой не столкнёмся, так пусть же будет верным твоё крыло, летучая Кара, потомок всех воронов Тауэра.

В тот вечер мы ушли гулять с утюгом, а возвращаться нам не хотелось. Мы молча и упрямо шли вперёд, и тень Кары кружилась над нами в нашей скорбной памяти. Мы видели, как ночь овладела Москвой, и Москва играла и млела, смеялась нам лицами своих ночных женщин, мчалась в блестящих машинах, гремела музыкой и хлопала разлетающимися дверями засыпающих станций метро, как бледными крыльями ночных бабочек. Мы шли, общались с ментами, молча курили с хмурыми встречными, говорили с бомжами, покупали пиво и сок в круглосуточных ларьках, посасывали это, смотрели на Москву – и шли дальше, провожая нашу личную, навек улетевшую ночь.

Мы оба знали, что провожаем Кару. Но мы друг с другом об этом молчали.

И вот на добром, уютном Сретенском бульваре встретили Грана. Он сидел на скамейке, к которой нас обоих толкнула сила нашей потери. А когда Гран увидел нас, он понял, что настало и ждал.

– Друзья! – сказал он, глядя ни на меня, ни на Сашку, а как-то между, где прятался за моей ногой скромный утюг. – Всю ночь я гуляю по этому городу и не могу покинуть его улиц, потому чувство не оставляло меня, что эта ночь подарит мне спутников, с кем я начну свой поход на Восток.

А если не сказал, он мог так сказать, этот странный человек Гран, вольный ветер широких дорог. Он рассказал нам, что жизнь его – автостоп, а что такое автостоп – это движение без остановок, он их не терпит, но получилось так, что Москва не отпускала его на сей раз, и он понял, что придёт к нему кто-то, кого ждёт дорога.

– Сталкер, Сталкер, почём берёшься ты провести в зону? – шучу я, и все мы смеёмся.

Гран – стопщик-одиночка, но приходит время, и любой мастер берёт себе учеников. Все мы поняли, что такова наша судьба. Все мы знаем, что такое судьба, потому что знаем, что такое трасса, а ты не научишься видеть судьбу, пока не вышел на трассу, приятель.

– Мы не ходили ещё так далеко, – говорим с Сашкой.

– Я вас научу, – отвечал на это Гран. – Вот вам первое правило: каждый раз, уходя, будьте готовы, что уходите вы навсегда.

Мы возвращались в нашу коммуну радостные и лёгкие, и утюг тихо шуршал сзади. Мы возвращались с чувством ясности и уверенности в нашем пути, потому что знали, что Кара всё-таки изменила наш мир.

Кара явилась мне во дворе Якиманки. Она явилась, как тень, вдруг обретшая плоть и ставшая птицей. Слетела с дерева и оказалась на краю скамьи, где сидела я; выгнула шею, закачалась и трижды произнесла своё имя.

Был радостный и тёплый июньский день, и тополя хлопали свежими листьями над моей головой, но если чёрный ворон сел рядом с тобой, приятель, можешь быть уверен – вся жизнь пойдёт кувырком. Или рядом с тобой так часто садятся чёрные вороны?

В тот день я ушла со своей курьерской работы. Накануне отбила сессию и теперь, в летнем настроении, мне хотелось далеко послать свою турфирму. Я рассталась с ней и возвращалась домой в лёгком головокружении от чувства свободы: больше в Москве меня ничто не держит. Так много стало простора, что я ощутила – сейчас взлечу, я как шарик, у которого оборвалась нитка – и от слабости села. Тут-то и слетела на меня Кара.

Ворон – это вестник судьбы, и я была носителем её в тот день: я внесла в коммуны огромную чёрную Кару, безвозмездный дар всей Якиманке от провидения.

И Якиманка приняла её так, как мог бы принять Вавилон – она побледнела, похолодела, набрала воздуха и зашлась криком, истерией, жалобами. Мы ещё ничего не успели сделать, как только вошли в вечно наполненный коммунальный наш коридор, как всё пришло в такое движение, что Кара взмыла под потолок и принялась качаться там на рожке с лампочкой.

– Это немыслимо! – орала Якиманка.

– Это неслыхано! – поддакивала она сама себе.

– Ведь есть же правила!

– Куда смотрит хозяин?

– Чтобы таскать наши вещи!

– Гадить будет, гадить везде!

– Где же хозяин!

– Распустилась молодёжь донельзя!

– Я тоже давно хочу завести собаку, чтобы охраняла диван, но есть же правила!

– Эй, хозяин!

Кара качалась и раздавала всем проклятье своего имени. Пока, наконец, не явился на кухню Рома-Джа.

Все смолкли, ибо это и есть наш хозяин, и его слушает каждый, пускай на голове его – дрэды, а в сердце вечная хиппанская весна. Он всегда спокоен, а для нас, безумных, спокойствие – залог мудрости и мудрых дел.

Рома-Джа остался спокоен и увидав Кару мою на рожке, и сказал тихо:

– Мелкая, ты знаешь: по правилам самостоятельных животных в коммуны нельзя.

Правила эти неписаны. Точнее, они когда-то были написано, но быстро содраны кем-то в припадке скандала, однако их помнили и знали по принципу «передай другому». В правилах был этот пункт: самостоятельными считались все животные, что могли сами найти что-то и съесть, либо покинуть территорию, условно отведённую их хозяину. Все это исключало

кошек, собак, хорьков и слишком шустрых кроликов. Не исключало мышей, крыс, хомяков, рыб, рептилий и шипящих мадагаскарских тараканов.

Защищать Кару было после того бессмысленно. Осталось только стянуть её с рожа и гордо покинуть с дом. Якиманка попряталась по своим углам, закрыв от нас двери, я поставила стул на стол и полезла, прибежала Ленка, раскрыла окно, чтобы Каре было куда лететь, и стала громко хохотать и прыгать, чтобы Каре было чего бояться.

Я оказалась с ней вровень. Балансируя, выпрямилась и потянула руки. Кара глянула на меня почти с укоризной, мотнула головой и отчётливо каркнула:

– Ха работу!

После чего сорвалась с люстры и полетела по коридору, рождая вихрь в недрах коммуны.

– Те-те-те, – не то с похвалой, не то порицая промолвил дед наш Артемий.

– Ура! Клиника! – заравовалась Ленка и бросилась вслед за Карой.

Унимая коленную дрожь, я слезла вниз и побежала в комнату, ибо что напротив кухни в нашей коммуны, прямо по коридору без поворотов – комната Ромы-Джа, с роялем и моей антресолюю.

Окно там оказалось настезь, и комната кипела уличными звуками. Ленка сидела на подоконнике, держа над двором горшок с Сашкиным перцем. Так распорядилась к тому моменту Ленка и коммунская Сашкина судьба, что он снова жил в ванной, а в комнате нашей рос его любимый жгучий перец, небольшое зелёное деревце. Он-то и держал его пока в коммуны – он и бешенные Ленкины глаза, уставившиеся сейчас из раскрытого окна отвесно в Якиманский двор.

В тот день, когда Сорокин сажал этот перец – разбухшее семечко с белым хоботком – он крутился весь день в комнате, и Ленка, не выдержав этого, в сердцах заявила: «Что ты липнешь здесь? Шёл бы лучше, занялся чем-нибудь бесполезным. Утюг бы выгулял что ли». Сорокин покорно сказал: «Хорошо», я его поддержала, и Ленка тут же стала смеяться, не поверив, что мы это сделаем.

А мы стали гулять с утюгом каждый вечер, и Ленка переименовала нашу коммуны в клинику. Сначала мы выносили его на лужайку у дома, потом Сашка принёс роликовую доску. Мы привязали к ней верёвку и стали закреплять утюг, с ним можно было теперь ходить гулять дальше двора. Ленка радостно кричала нам в окно: «Психи» – когда мы выворачивали из арки на улицу.

– А вот интересно, долго ли отсюда лететь? – произнесла задумчиво она, почувствовав, что люди возвращаются в комнату.

– Улетела? – спросила я, и что-то свернулось во мне в унынии.

– Прям, – дёрнула Ленка плечом, поставила перец на крышку рояля, откинулась к раме и уставилась в учебник.

Я обернулась – на тумбочке, с которой начинается моё восхождение в антресолю, стоял Сорокин и смотрел внутрь моего дома.

– Ах, кайф какой, ах кайф ... – причитал он.

Я встала тоже на тумбочку и заглянула – Кара стояла там, пригнувшись, у дальней стены, рядом с моими книжными башенками и свёрнутым на день спальником.

– Рома, – сказала я, – она уйдёт из коммуны, когда придёт её время, ладно?

– Все мы уйдём из коммуны, когда придёт время, – откликнулся Рома из своего угла. – Я уйду скоро. Если она останется дольше, здесь поднимется бунт, который вы не сможете унять.

– Пусть будет так, – согласилась я.

На стекле окна нашей комнаты висит красная пластиковая дощечка – «Запасной выход». Табличку повесила Ленка, она встречалась с панком, юным мальчиком, вечерами они гуляли по стройкам, и наша коммуны получила с одной этот новый свой символ. Окно здесь вечно

открыто, и это верно, как восхитительно это верно! Ленка удивительно точна в своём виденье жизни, поэтому все её выходки носят лёгкий экзистенциальный налёт.

Как всякий вестник, ты знаешь, что такое время и когда оно придёт, твоё время, Кара. Ты ходишь по нашей комнате, стуча подковками своих когтей, и даже не смотришь в сторону распахнутого окна. «Запасной выход» – это на будущее, а сейчас ты здесь, Кара, чтобы изменить наш мир.

Так не я сказала, так сказал Макс. Но Макс – это такое странное существо, он всем друг, но о нём никто ничего не знает. Он приходит в коммуны в гости, приходит как тень, почти незаметный, но всегда ощутимый. Фотографирует нас, разные странные мелочи нашей квартиры, говорит с нами, с каждым о чём-то своём, и уходит. После него всегда в неожиданных местах находятся сладости, но он никогда не говорит, что приносит их. Он москвич, и мне кажется, что он ходит к нам как в зоопарк или, точнее, как в экзотический сад, где животных можно наблюдать в естественной среде.

Он меня старше, как брат. Мы с ним знакомы давно, и это он привёл меня на Якиманку. Никто не знает, чем он занимается, но от него исходит уверенность профессионала – профессионала во всём. Он человек, который уже сделал себя, в отличие от всех нас, жителей коммуны, и за это получил право быть непонятым и никому не раскрываться. Вот и всё, что я знаю про Макса.

Он пришёл в тот же день, когда появилась Кара, у него загорелись глаза, и весь вечер он не сводил с неё своего объектива.

– Такие существа являются, чтобы изменить наш мир. Ты же понимаешь, – сказал, уходя.

И вот Кара ходит по нашей комнате, а коридоры Якиманки пульсируют, прислушиваясь к цокоту её коготков. Она – нарушение наших правил, но разве можно изменить мир, не нарушив их?

– Петрашевы, – ворчит на нас дед Артемий, когда мы появляемся на кухне.

Кара любит замирать и подолгу таращить глаз на стекло шкафа, за которым прячутся Ромины книги. Если присесть на корточки и похлопать по коленям, она подойдёт и тронет большим, будто полированным клювом протянутую ладонь. Она любит играть, катать комки бумаги по полу, подбрасывать и ловить их в воздухе. Приглашая на этот волейбол, она начинает прыгать вокруг и ударять клювом о ноги. Это не больно, только немного страшно – ведь если есть что-то действительно далёкое от человека в природе, то это птицы. Она привередлива к пище и ест исключительно бледных, страшных мойв. Мы с Сорокиным сбились с ног сначала, пытаясь накормить её, подкладывая ей под клюв разную еду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.